

Общая инт. - 1995 - 15-21 июня
Г 11

ЗВЕЗДЫ

Константин РАЙКИН: Можно сойти с ума или застрелиться, если...

— Скажите прежде всего, как к вам удобнее обращаться: Костя или Константин Аркадьевич?

— Костя короче. В театре мы все между собой на ты. Не каждый худрук со мною согласится, конечно, но так удобнее. И авторитету это никак не вредит — он поддерживается другими вещами, не этикетом.

— Хорошо, пусть будет Костя. В вашем расписании ваш секретарь с огромным трудом выкроила время для интервью. У вас сейчас напряженный период в жизни?

— Не сейчас. Я давно так живу. У меня почти все дни похожи один на другой. Я просыпаюсь вместе со своей дочкой, немного раньше, в восемь она отправляется в школу. Что-то делаю дома. К девяти прихожу в «Сатирикон» — приготовить то, что нужно на день. С десяти до двух репетиция, потом я успеваю перекусить, прямо в театре, и занимаюсь делами худрука — их всегда куча. Театр — такой организм, в котором работа идет параллельно с процессом распада, он разваливается ежедневно, и надо успевать делать собирающие движения — подправлять что-то, восстанавливать, переставлять.

Сегодня мы можем поговорить, поскольку на сцене идут «Служанки», а с ними мы уже все решили. Сегодня мы этот спектакль играем в последний раз.

— Жалко. Этапный был спектакль.

— Жалко, конечно. И администрация, и все вообще убеждают меня одуматься — он собирает уйму народу, его сейчас пригласили в три страны сразу, а я его снимаю — просто извращенец какой-то! Но сам спектакль много потерял за семь лет, его уже нельзя привести в прежний вид. Сегодня нужно ставить точку: нечего ждть, пока другие почувствуют запах мертвечины.

Дальше. Заканчивается спектакль, моя работа продолжается — приходит художник, собирается худсовет, надо посмотреть актерские показы — до полдвенадцатого, до двенадцати я, как правило, в театре. Потом иду домой, около часу ночи ложусь спать. И так каждый день. Если не любить это дело, можно сойти с ума или застрелиться — жизнь не удалась. Но никакой другой жизни у меня нет.

— А сьемки? Собственный бизнес?

— Какой бизнес? Если ты говоришь о дополнительном приработке — в месяц я могу дать пару концертов где-нибудь на просторах России. А не снимаюсь я давно, мне неинтересно. Мне все время предлагают то, что я уже оставил позади. Знаешь, как плохой охотник: он где увидел утку, туда и стреляет, а она уже вперед пролетела. Впрочем, летом, во время отпуска, я, видимо, посняюсь у Валеры Огородникова. Он знает наш театр, он меня знает как сегодняшнего актера, а не как Труффальдино из Бергамо. А в остальном моя жизнь не меняется.

— Вы и сами, Костя, не меняетесь, по крайней мере внешне. Извините за дамский комплимент, но вы сумели кротить свой возраст не хуже, чем Мик Джаггер. Как вы поддерживаете форму?

— Ролями. Все получается само собою, впрямь я ничего не делаю — только то, что нужно сейчас. У меня пять ролей: если правильно относиться к профессии, оказаться дряблым, толстым, водянистым невозможно. В театре людей, которые начинают полнеть, я просто преследую, и вовсе не из каприза. Для меня это симптом: человек внутренне выбился из работы. Актер — довольно поджарая профессия. «Сатирикон» — театр поджарый, и в другом я работать не хочу. Я вообще зарекаюсь играть на стороне. Пусть кто угодно приглашает,

хоть Питер Брук: если это не будет непосредственно работать на «Сатирикон» — не пойду.

— Что же, личная популярность вас вовсе перестала волновать?

— Во всяком случае, она интересует меня не в первую очередь. Я уже взрослый: о личной славе мечтают в двадцать пять лет, в восемнадцать еще больше — я через это прошел. Смысл жизни — не в том, чтоб тебя узнавали на улицах. Понятным быть гораздо важнее, чем обхлупанным с ног до головы. Я это давно почувствовал, еще в «Современнике», когда мы с Валерой Фокиным делали «Записки из подполья». Это вообще была самая важная работа в моей жизни: через Достоевского я в двадцать шесть-двадцать семь лет наконец начал чувствовать себя артистом.

Наш новый спектакль, «Превращение» по Кафке, смотрят шесть-десять человек, но они смотрят всерьез, мы этого добиваемся, и в театре именно это важно.

— Можете ли вы представить, что живете другую жизнь?

— Есть вот такая уродливая пьеса: наша жизнь. В ней есть роль: Костя Райкин — довольно большая. Я ее играю, и когда я говорю — партнерши молчат. Другая пьеса всем замечательна, кроме одного: моя роль в ней не написана. Я в нее перебеда, начну что-то говорить из своей роли, а мне ответят: извините, что это вы несете? Нам такого не надо, вы перебиваете. И все. Там меня как персонажа нет. А здесь, в нашей чудовищной тяготе, мне, с постоянными пиротехническими эффектами вместо сюжета — есть.

Поэтому я не могу уехать в другую страну: там меня не надо.

— Вы сами подняли свербящую отъездную тему, поэтому позвольте спросить: у вас были проблемы с национальностью?

— Нет. У меня лично проблем не было. На меня антисемитизм не распространялся: кто-то когда-то ругнет за глаза — это можно не считать. Для всех я был, прежде всего, сыном национального героя, сыном Райкина, а не евреем. У меня с самого детства все было хорошо, но глаза и уши у меня были. Когда моего товарища, талантливого парня не принимали в консерваторию, когда Ойстрах при мне жаловался папе, что ему навязали жесткую квоту по национальному признаку, я понимал: с этой национальностью в этой стране жить сложно.

Я чувствую себя избранныком судьбы. Если она сделала меня сыном моего папы, значит, от меня кто-то чего-то хочет. Мне от рождения предьявлен некий счет: у меня было очень счастливое детство.

— Особо благополучное?

— Нет, счастливое. Никакого особенного благополучия не было. В нашей стране очень богатыми людьми — по тогдашним меркам — иногда становились писатели, скульпторы-монументалисты, а актеры — да никогда в жизни. Папа играл двадцать спектаклей в месяц, получал по сорок рублей за спектакль: это было много, это была зарплата академика, но это не богатство, согласитесь. Машина у нас когда-то появилась, дачи так никогда и не было... Папа очень спокойно относился к житейским благам, мама тоже, и меня они не баловали. Я ходил в спортивную школу, хорошо учился, дрался (у меня шесть раз нос переломан) — словом, жил жизнью нормального русского человека из хорошо обеспеченной семьи. Но я жил рядом с великими артистами. С детства мне выпало счастье общаться с уникальными людьми. Ойстрах,

Лев Кассиль, Корней Иванович Чуковский, Назым Хикмет, Катаев, Козловский Иван Семенович, Майя Плисецкая — я боюсь кого-то забыть — они ходили к нам в гости, мы к ним. Вот это многое значит, это откладывается. Поэтому я и говорю: судьба от меня чего-то хочет, я должен чем-то заплатить за мое счастье.

— Но, Костя, вы ведь пытались уклониться от своей судьбы — пытались стать зоологом, поступали на биофак в Ленинграде... Чего вы боялись?

— Ничего я не боялся. Во-первых, мне действительно были интересны животные. Во-вторых, я долго себя проверял. Мне казалось, что на сцену важна роль просто по семейной инерции. Я ведь понимал, какое это опасное дело — начинать свою собственную актерскую судьбу, будучи сыном великого артиста. Я ощущал внутреннюю самостоятельность, самоценность, но я предчувствовал: стоит мне выйти на сцену, меня сразу же начнут сопоставлять с папой — как оно и случилось, конечно, с первого же шага. Я еще ничего не умел, у меня ноги подгибались под тяжестью фамилии, я умолял папу не ходить на наши экзамены в Шуйкинское училище — он меня прекрасно понял и ни разу не пришел. Впервые он меня увидел как актера на сцене «Современника» — я уже два года там проработал. Он понимал, и я понимал: сидят люди в зале и смотрят не на сцену, а на то, как отец смотрит на сына, — невыносимо пошлая ситуация. Мне очень трудно было жить с фамилией Райкин: это была не моя, папина фамилия. Со временем я окреп понемногу.

— Вы пытались что-то заимствовать у отца?

— Пытался, конечно, но ничего не получилось. У папы была совершенно потрясающая техника — легкая, единственная, — он быстро увидел, что я на него, как актер, не похож, и сумел обрадоваться этому.

Научить он никого ничему не мог, у него не было педагогического призвания. Когда он занимался с актерами, это было мучительно и для него, и для них. Если у актера что-то не получалось, он абсолютно не мог понять: как так? Он начинал злиться, навязывать свои краски — а его краски годились только ему одному, Аркадию Райкину. Мне тоже его краски не годились: я рискнул однажды и до сих пор об этом жалею.

Один-единственный раз папа попробовал что-то преподать мне напрямую. Есть такой рассказ, из ранних чеховских, «Дневник помощника бухгалтера», странички на полторы текста. Человек в жизни ждет только одного — умрет бухгалтер, и он займет его место. Папа гениально показывал, чего этот несчастный помощник ждет, чему радуется, чего боится. Он был счастлив, когда у меня получилось что-то за ним повторить, радовался, смеялся — я пьянел от его смеха и всю эту историю, естественно, довел до конца, а дальше начался ужас. На своем творческом вечере — я ведь был уже довольно известным артистом — под конец объявляю: сейчас я покажу свою новую работу, в первый раз, только для вас — публика делает: ах! И вот залу, который я уже рассмешил, убаюкал, завоевал, — я читаю «Дневник». Гробовое молчание. Ухожу

Ольга ЧУМАЧЕНКО



со сцены под стук собственных копыт. Не понимаю. Попробовал еще раз, еще два раза, потом прибежал к Валере Фокину: «Слушай, у меня беда, посмотри, что не так?» Он посмотрел и сказал: старик, эту работу забудь как дурной сон. Ты примерил пиджак с чужого плеча — он тебе даже к лицу, но никому больше в нем не показывайся. Это — вещь Аркадия Исааковича, это его территория, сюда никому нельзя вступать, а тебе — тем более. И он правильно сказал: нельзя. Я это понял. Папа был добрым человеком. Но все-таки по гороскопу он был Скорпионом. Он умел взглянуть на человека так, что тот начинал дрожать мелкой дрожью. У нас в семье никогда не кричали, меня никто не распекал, но пару раз папа поговорил со мною тихим голосом: это было страшно. Помню, я поступил на первый курс, начались разные студенческие вечерушки, дело понятное, выпивка — а он этого терпеть не мог. Я один раз пришел немного выпивши, другой, а на третий он заходит ко мне в комнату: «Костя, а почему ты пьяный?» — этим своим страшно тихим голосом. И все. Прошибло.

Старожилы сатириконовские, которые его знали, мне говорят иногда: вот, Костя, ты все бегал, орешь, а Аркадий Исаакович голоса никогда не повышал... Оправдываться я могу только тем, что у папы было двадцать человек в коллективе, а у меня двести пятьдесят.

Он меня спрашивал: Костя, а почему ты так высказываешь на сцену? Надо спокойно выйти, сказать: «Добрый вечер», посмотреть на всех в о т т а к — и достаточно. «Ладно, папа, — говорю я, — это тебе достаточно. Ты скажешь: «Добрый вечер», сделаешь паузу — и все взорвутся. А если я ее сделаю, они только подумают: «Парень, какого хрена ты остановился?» Мне положено вертеться на пупе: мы разные.

— А вы в себе уверены, Костя?

— Нет. Но я больше пошел в маму, у меня ее темперамент. Мама у меня замечательная и, кстати, головой в семье была она. Он был гений, она — мозговой центр. (Талант у нее огромный, но она отдала его в жертву папе.) Он бы без нее таким не был. Она его образовывала, направляла, подкладывала какие-то книжки нужные, искала статьи... Она и мне читала — почти до взрослого возраста: Пушкина, Тургенева, Достоевского... Я читал не очень много, но благодаря маме не увлеклся никаким бардаком.

— Запрещенные книжки в доме водились?

— Бывали. Однако диссидентской семей мы вовсе не были, это легенды. Папа многое понимал, он заболел, когда сталкивался с очередной идеологической мерзостью, но он был сыном своего строя. Жить по принципу «на службе верю, дома нет» он не умел. В этом смысле семья у нас была довольно жестко закрученная: когда я пошел в первый класс, родители мне очень серьезно объяснили, что хорошо учиться — это сейчас самое большое, чем я могу помочь своей родине. И в этом не было никакого воспитательского обмана, никакого цинизма.

Жизнь папа прожил к р у г л е й ш у ю: о такой и мечтать страшно. Может быть, это нескромно, но пойми правильно: это большое счастье, когда ты видишь, что твой сын способен принять твое дело. И по моей энергии, по моей способности во все влезать, по тому, как ко мне относятся, — он понял, что я и хочу, и могу, и должен это дело взять в свои руки.

Сейчас я его держу.

Беседовал
Александр СОКОЛЯНСКИЙ